



Джулиан
Барнс

РОМАН — ЛАУРЕАТ
БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2011 ГОДА!



Пред-
чувст-
вие
КОНЦА

Джулиан Патрик Барнс

Предчувствие конца

Серия «Большой роман»

indd предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3006415

Джулиан Барнс Предчувствие конца: Эксмо, Домино; М; 2017

ISBN 978-5-389-12788-3

Аннотация

Джулиан Барнс – пожалуй, самый яркий и оригинальный прозаик современной Британии. А его роман «Предчувствие конца» получил Букеровскую премию – одну из наиболее престижных литературных наград в мире. Возможно, основной талант Барнса – умение легко и естественно играть в своих произведениях стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство – Барнсу подвластно все это и многое другое. В класс элитной школы, где учатся Тони Уэбстер и его друзья Колин и Алекс, приходит новенький – Адриан Финн. Неразлучная тройца быстро становится четверкой, но Адриан держится наособицу: «Мы вечно прикалывались и очень редко говорили всерьез. А наш новый одноклассник вечно говорил всерьез и очень редко прикалывался». После школы четверо клянутся в вечной дружбе – и надолго расходятся в разные стороны; виной тому

романтические переживания и взрослые заботы, неожиданная трагедия и желание поскорее выбросить ее из головы... И вот постаревший на сорок лет Тони получает неожиданное письмо от адвоката и, начиная раскручивать хитросплетенный клубок причин и следствий, понимает, что прошлое, казавшееся таким простым и ясным, таит немало шокирующих сюрпризов... В 2017 году в мировой прокат выходит киноверсия этого романа. Главные роли в фильме исполнили Шарлотта Рэмплинг, Джим Бродбент, Мишель Докери, Эмили Мортимер, Джо Элвин.

Содержание

Часть первая	11
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Джулиан Барнс

Предчувствие конца

Julian Barnes

THE SENSE OF AN ENDING

Серия «Большой роман»

Copyright © 2011 by Julian Barnes

All rights reserved

© Е. Петрова, перевод, примечания, 2011

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство Иностранка ®

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

* * *

Я хотел написать книгу о времени и памяти, о том, что время делает с памятью. Также о том, что память делает со временем. И о том, что в определенный момент вы понимаете, что ошибались в чем-то главном. Когда вы стареете, у вас накапливаются воспоминания о вашей жизни. Но не все определено. Ведь прошло 20

или 30 лет, и вы понимаете, что многое из случившегося неверно. В смысле тематики это короткая книга. Но я думаю, что писатель со временем учится лучше контролировать время.

Думаю, что рассказы писать труднее, чем романы. Я отношусь к тем авторам, которые начинали с романов, а позже стали писать рассказы.

Кстати, моя предыдущая книга была в 500 страниц. В романе рассказывается о том, что герой чего-то не знает и не может сказать, чего именно. Если бы я написал роман о том, что он узнал, он бы занял 250 страниц.

Джулиан Барнс

Возможно, лучший роман Барнса, и уж наверняка – изумительная история, очень человечная и до боли реальная.

Irish Times

Тонкий юмор, отменная наблюдательность, энергичный слог – вот чем Барнс давно пленил нас и продолжает пленять.

The Independent

Произведение потрясающей эмоциональной силы.

Daily Mail

В своем поколении писателей Барнс безусловно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм.

The Scotsman

Джулиан Барнс – хамелеон британской литературы. Как только вы пытаетесь дать ему определение, он снова меняет цвет.

The New York Times

Завораживающая книга... своего рода детектив без преступления.

Independent

Как антрепренер, который всякий раз начинает дело с нуля, Джулиан никогда не использует снова тот же узнаваемый голос... Опять и опять он изобретает велосипед.

Джей Макинерни

Репутация Барнса, и без того блистательная, с этой книгой поднимется на новую высоту. И пусть не введет вас в заблуждение скромный объем «Предчувствия конца»: тайна, составляющая сюжетный двигатель романа, заложена очень глубоко, там, где живут наши самые заветные воспоминания.

The Daily Telegraph

Лишь Барнс умеет с таким поразительным спокойствием, не теряя головы, живописать хаос и уязвимость человеческой жизни.

The Times

Казалось бы, ну что может дать еще один роман – будто мы и так не знаем, что Барнс – великий писатель?

Как еще, скажите на милость, может улучшиться его репутация? Какие такие новые таланты у него могут обнаружиться? Вот так, вот такие: еще как, еще какие; прям-таки с открытым ртом читаешь – во дает.

По существу, «Предчувствие конца» – это детектив, но очень необычный, потому что преступление, происшедшее много лет назад, не может быть юридически формализовано; более того, факты отфильтрованы памятью, поэтому не доказано, что оригиналы событий и позднейшие представления о них совпадают; и как теперь, скажите на милость, можно в таких обстоятельствах «расследовать» хоть что-нибудь?

Удивительно, что лабиринтоподобный сюжет возникает вроде бы абсолютно из ничего, на пустом месте, из самых тривиальных событий; в романе, кстати, сказано про этот феномен – «аккумуляцию»: когда эффект от (неблагоприятных) факторов не просто складывается, а перемножается – и сочетание вроде бы терпимых вещей неожиданно вызывает тотальную катастрофу, причем все обстоятельства ее – из самой что ни на есть обыденной, повседневной жизни. Как Барнсу удалось схватить этот феномен? Опять – стандартный барнсовский парадокс: романист – патентованный врун – в состоянии обнаружить такую правду, до какой никогда не докопается ни один автор нон-фикшна. Гроссмейстер, конечно; и конечно, на длинной дистанции Барнс обходит всех своих ровесников-соперников – и Макьюэна, и Рушди, и

Эмиса.

Лев Данилкин (Афиша)

По-хорошему роман Барнса надо читать дважды: второй раз – уже умея оценить, как умно и мастеровито он выстроил эту историю, рассыпав на каждом углу подсказки. Оценить и понять, что рассказал-то нам Барнс об охватившей мир энтропии, которая настигает без всякого исключения всех.

В мире Барнса нет победителей и побежденных, каждый – расточитель и банкрот. Нет ничего хорошего в том, чтобы согласиться на роль посредственности, как это делает большинство живущих на земле, плывя по течению, не ведая «ни побед, ни поражений», о «вдохновении и отчаянии» зная лишь по романам. Но участь тех, кто сопротивляется рутине и готов на нестандартные решения, ничуть не отличается: их точно так же подстерегает Эрос, а затем Танатос и хаос. «Великий хаос» – это последние слова романа, действительно сильного, очень современного...

Майя Кучерская (Ведомости)

В истории современной английской литературы произошло долгожданное событие. С третьей попытки лауреатом самой престижной в Великобритании литературной премии «Букер» стал Джулиан Барнс за роман «Предчувствие конца».

Почему англичане так долго тянули с присуждением своей главной литературной премии, очевидно, лучшему современному прозаику Англии, которого

читает весь мир и одних только русских переводов которого я насчитал шестнадцать, но, наверное, их больше? Ответ на этот вопрос однозначен. Потому и тянули, что слишком известен, что слишком избалован рецензентами ведущих газет, что не отметить его нельзя, и поэтому с этим можно не спешить.

Павел Басинский (Российская газета)

Посвящается Пат

Часть первая

1

Вот что мне запомнилось (в произвольной последовательности):

- лоснящаяся внутренняя сторона запястья;
- пар, который валит из мокрой раковины, куда со смехом отправили раскаленную сковородку;
- сгустки спермы, что кружат в сливном отверстии, перед тем как устремиться вниз с высоты верхнего этажа;
- вздыбленная пенной волной река, текущая, вопреки здравому смыслу, вспять под лучами пяти-шести фонариков;
- другая река, широкая, серая, текущая непонятно куда, потому что ее будоражит колючий ветер;
- запертая дверь, а за ней – давно остывшая ванна.

Последнее, вообще говоря, я сам не видел, но память в конечном итоге сохраняет не только увиденное.

Все мы существуем во времени – оно нас и формирует, и

¹ Название романа – «Предчувствие конца» (The Sense of an Ending) – Барнс позаимствовал из одноименной книги литературоведа Фрэнка Кермоуда (1919–2010), выпущенной в 1967 г. Книга эта представляет собой собрание лекций, в которых анализируются взаимоотношения прозы (от Платона до Уильяма Берроуза) с вековыми представлениями о кризисе, хаосе и апокалипсисе. – *здесь и далее примечания Елены Петровой*

калибрует, но у меня такое ощущение, что я его никогда до конца не понимал. Не о том речь, что оно, согласно некоторым теориям, как-то там изгибается и описывает петлю или же течет где-то еще, параллельным курсом. Нет, я имею в виду самое обычное, повседневное время, которое рутинно движется вперед заботами настенных и наручных часов: тик-так, тик-так. Что может быть убедительнее секундной стрелки? Но малейшая радость или боль учит нас, что время податливо. Оно замедляется под воздействием одних чувств, разгоняется под напором других, а подчас вроде бы куда-то пропадает, но в конце концов достигает того предела, за которым и в самом деле исчезает, чтобы больше не вернуться.

Мои школьные годы не представляют для меня особого интереса, и никакой ностальгии у меня нет. Однако началось все именно в школе, а потому нужно вкратце изложить некоторые события, выросшие до масштаба исторических эпизодов, и кое-какие смутные воспоминания, из которых время слепило уверенность. Коль скоро реальные события для меня не особенно отчетливы, постараюсь хотя бы придерживаться оставленных ими впечатлений.

Нас было трое, а теперь он стал четвертым. Мы вовсе не стремились расширять свой тесный круг: всякие тусовки и группировки остались в прошлом, и нам уже не терпелось вырваться из школы в настоящую жизнь. Звали его Адриан Финн; это был голенастый застенчивый парнишка, который

поначалу смотрел в пол и держал свои мысли при себе. День-два мы его попросту не замечали: у нас в элитной школе не принято было устраивать новичкам торжественную встречу, а уже тем более – унижительную «прописку». Мы лишь зафиксировали его появление и стали ждать.

Учителя проявили к нему больше интереса. Им предстояло выяснить, насколько он умен и дисциплинирован, хорошо ли подготовлен и какой из него выйдет «педагогический материал». В той осенней четверти у нас на третий день пришелся урок истории, который вел Джо Хант, насмешливо-добродушный старикан в неизменном костюме-тройке; для обеспечения порядка он поддерживал на своих занятиях достаточный, но не чрезмерный уровень скуки.

– Как вы помните, у вас было задание на лето: прочесть вводный раздел о царствовании Генриха Восьмого. – (Мы с Колином и Алексом переглянулись в надежде, что заброшенный учителем крючок с насаженной мухой не долетит до наших голов.) – Кто охарактеризует этот период? – (Мы старательно отводили в сторону взгляды, чем подсказали ему разумный выбор.) – Ну, Маршалл, пожалуйста. Что вы можете сказать об эпохе Генриха Восьмого?

Наше облегчение оказалось сильнее любопытства, потому что осторожный Маршалл был отстающим учеником, лишенным той фантазии, что свойственна подлинным олухам. Не найдя в заданном ему вопросе подводных камней, он в конце концов выдал:

– В стране был хаос, сэр.

По классу прокатились еле сдерживаемые смешки; даже Хант почти улыбнулся.

– Нельзя ли немного подробнее?

Маршалл неторопливо покивал в знак согласия, подумал еще и решил пойти ва-банк.

– Я бы сказал, в стране был великий хаос, сэр.

– Финн, прошу вас. Вы подготовились?

Новичок сидел передо мной, слева. На тупость Маршалла он не отреагировал.

– К сожалению, нет, сэр. Но существует мнение, что о любом историческом событии, даже, к примеру, о начале Первой мировой войны, можно с уверенностью сказать только одно: «Нечто произошло».

– Неужели? Если так, я скоро без работы останусь.

Выждав, когда умолкнет подхалимский смех, старина Джо Хант простил нам летнюю расхлябанность и сам рассказал про венценосного мясника-многоженца.

На перемене я разыскал Финна.

– Меня зовут Тони Уэбстер. – (Он ответил мне настороженным взглядом.) – Жестко ты срезал Ханта. – (Казалось, он даже не понимает, о чем речь.) – Ну это: «нечто произошло».

– А, да. Я в нем разочаровался – он ушел от темы.

От него я ожидал совсем другой реакции.

Еще одна подробность, которая мне запомнилась: мы,

все трое, в знак нашего единства носили часы циферблатом вниз, на внутренней стороне запястья. Это был чистой воды выпендрож, а может, и не только. Время становилось для нас личной и даже тайной собственностью. Мы думали, что Адриан заметит эту фишку и последует нашему примеру, но ничуть не бывало.

В тот же день – а может, и в другой – у нас был сдвоенный урок английского и литературы, который вел молодой учитель Фил Диксон, недавний выпускник Кембриджа. Он любил разбирать современные произведения и частенько ставил нас в тупик. «„Рождение, и совокупление, и смерть. И это все, это все, это все“, – говорит нам Элиот². Ваши комментарии?» Однажды он сравнил кого-то из шекспировских героев с Керком Дугласом в фильме «Спартак». А когда мы обсуждали поэзию Теда Хьюза, он, как сейчас помню, презрительно склонил голову набок и процедил: «Всем любопытно знать, что он будет делать, когда исчерпает запас животных»³. Время от времени он обращался к нам «джентль-

² Томас Стернз Элиот (1888–1965) – американец по происхождению, выдающийся британский поэт-модернист, драматург, переводчик, эссеист; лауреат Нобелевской премии по литературе (1948). Цитируется его стихотворение «Суини-агонист» (1926–1927), в переводе А. Сергеева.

³ Тед Хьюз (Эдвард Джеймс Хьюз, 1930–1998) – английский поэт и детский писатель. С 1984 г. до конца жизни – Британский поэт-лауреат (т. е. придворный поэт, утвержденный монархом и традиционно призванный откликаться торжественными стихами на важные события в жизни государства и королевской семьи). В стихах Хьюза фигурируют ястреб, ворона, лось, лиса, речная форель и

мены». Естественно, мы перед ним преклонялись.

На том уроке он раздал всем одно и то же стихотворение без названия, без даты, без имени автора, засекая время, а через десять минут попросил нас высказаться.

– Давайте начнем с вас, Финн. Своими словами: как бы вы определили суть этого стихотворения?

Адриан поднял глаза от парты.

– Эрос и Танатос, сэ.

– Хм. Поясните.

– Секс и смерть, – продолжал Финн, как будто даже самые безнадежные тупицы с задних парт должны были понимать по-гречески. – Или, если угодно, любовь и смерть. В любом случае здесь присутствует конфликт между половым инстинктом и инстинктом смерти. А также следствие этого конфликта. Сэр.

Наверное, у меня на лице отразилось такое обалдение, которое Диксон счел нездоровым.

– Уэбстер, теперь вы нас просветите.

– Я, честно говоря, подумал, что это стихотворение про сову, сэ.

В этом заключалось одно из различий между нашей троицей и новичком. Мы вечно прикалывались и очень редко говорили всерьез. А наш новый одноклассник вечно говорил всерьез и очень редко прикалывался. Чтобы это понять, требовалось время.

Адриан позволил втянуть себя в нашу компанию, не подавая виду, что сам к этому стремился. Возможно, он и не стремился. Во всяком случае, никогда не пытался под нас подладиться. Во время утренней молитвы он подхватывал от-ветствия, тогда как мы с Алексом только шевелили губами, а Колин издевательски строил из себя истового богомольца и орал в полный голос. Мы, все трое, считали, что спортивные секции придуманы тайными фашиствующими силами для подавления нашей сексуальности; Адриан между тем вступил в фехтовальный клуб и занялся прыжками в высоту. Мы кичились полным отсутствием слуха; Адриан принес в школу кларнет. Когда Колин хаял свою семью, когда я высмеивал политический строй, когда Алекс высказывал философские возражения против видимой сущности материального мира, Адриан помалкивал – во всяком случае, на первых порах. Создавалось впечатление, что он верит в какие-то идеалы. Мы тоже были этого не чужды, только нам хотелось верить в собственные идеалы, а не в те, что кем-то придуманы за нас. Отсюда – наш скепсис, который мы приравнивали к очищению.

Школа находилась в центре Лондона, и мы ездили на уроки из разных районов, перемещаясь из одной системы контроля в другую. В ту пору жилось проще: ни тебе больших денег, ни электронных гаджетов, ни тирании моды, ни девочек. Ничто не отвлекало нас от человеческого и сыновнего

долга: учиться, сдавать экзамены, чтобы потом на основании полученных знаний найти работу и в конце концов обеспечить себе более полноценную и благополучную жизнь, чем у наших родителей, которые будут нами гордиться, но втайне припоминать собственную молодость, когда жизнь была проще, а потому несравненно лучше. Эти соображения, конечно, вслух не высказывались: над нами всегда довлел умеренный социальный дарвинизм английского среднего класса.

– Какие все-таки гады предки, – завелся однажды Колин на большой перемене, в понедельник. – В детстве кажется: нормальные люди, а потом до тебя доходит, что они ничем не лучше...

– Генриха Восьмого, Кол? – подсказал Адриан.

Мы уже начали привыкать к его иронии, а также к тому обстоятельству, что она может обернуться против любого из нас. Насмешничая или призывая к серьезности, он именовал меня Антонием, Алекса – Александром, а неудлиняемое имя Колина стягивалось у него в «Кол».

– Я бы слова не сказал, если б у моего папаши была дюжина жен.

– И куча денег.

– И если бы Гольбейн написал его портрет.⁴

⁴ Ганс Гольбейн-младший (1497–1543) – один из величайших немецких художников. Работая в Англии, создал портреты монарших особ, в том числе несколько портретов Генриха VIII, и эскизы парадных придворных облачений.

– И если бы он послал папу римского куда подальше.⁵

– А почему сразу «гады» – что они такого сделали? – спросил Алекс.

– Я хотел, чтобы мы все вместе поехали в луна-парк. А они говорят: в выходные нужно в саду поработать.

Действительно, гады. Только не для Адриана, который слушал наши обличения, но почти никогда не встречал. При этом, как нам казалось, он мог бы сказать больше многих. Его мать давным-давно ушла из семьи, предоставив мужу воспитывать Адриана и его сестру. В те годы еще не вошло в обиход выражение «неполная семья»; тогда говорили «разбитая семья», и Адриан был единственным из наших знакомых, кто происходил из такой семьи. Он мог бы озлобиться на весь свет, но этого почему-то не произошло; по его словам, он любил маму и уважал отца. По секрету от Финна мы разобрали его случай по косточкам и обосновали теорию: рецепт семейного счастья в том, чтобы вовсе не заводить семью или, по крайней мере, жить порознь. Придя к такому выводу, мы стали еще больше завидовать Адриану.

В ту пору мы считали, что томимся в каком-то загоне, и не могли дожидаться, когда нас выпустят на волю. А когда настанет этот миг, наша жизнь – и само время – понесется стре-

⁵ Король Генрих VIII порвал с папством после того, как папа Климент VII отказался аннулировать его брак с Екатериной Арагонской. Этот разрыв положил начало религиозной реформации в Англии, в результате которой король был объявлен главой Англиканской церкви.

мительным потоком. Откуда нам было знать, что жизнь как-никак уже началась, что мы уже получили некоторую фору и понесли некоторый ущерб? А кроме того, если нас куда-то и выпустят, то лишь в другой загон, попросторнее, с трудно-различимыми на первых порах границами.

Но пока этого не произошло, мы были одержимы книгами, сексом, идеями меритократии и анархизма. Все политические системы виделись нам порочными, но мы не рассматривали никаких альтернатив, кроме гедонистического хаоса. Однако Адриан подтолкнул нас к мысли, что идеи могут воплощаться в жизнь, а наши принципы должны руководить нашими поступками. Раньше главным философом у нас был Алекс. Он почитывал кое-какие первоисточники и мог, например, ни с того ни с сего заявить: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать»⁶. Мы с Колином ненадолго впадали в задумчивость, а потом ухмылялись и продолжали трепаться. Появление Адриана низвергло Алекса с пьедестала, точнее, предоставило нам возможность открыть для себя другого философа. Если Алекс читал Рассела и Витгенштейна, то Адриан – Камю и Ницше. Я читал Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли, Колин – Бодлера и Достоевского. Но это лишь жалкая карикатура.

Да, конечно, мы выделялись – а как же без этого в юно-

⁶ Заключительный афоризм из «Логико-философского трактата» (нем. изд. 1921, англ. изд. 1922) австро-английского философа Людвиг Витгенштейна (1889–1951), одного из виднейших мыслителей XX в.

сти? Сыпали такими терминами, как «*Weltanschauung*»⁷ и «*Sturm und Drang*»⁸, без конца повторяли «с философской точки зрения это самоочевидно» и убеждали друг друга, что воображение в первую очередь должно быть трансгрессивным. Наши родители смотрели на это со своей колокольни. каждого из нас в семье считали невинным агнцем, угодившим под чье-то пагубное влияние. Так, мать Колина прозвала меня «темным ангелом»; мой отец ополчился на Алекса, увидев у меня в руках «Коммунистический манифест», а в Колина стали тыкать пальцем родители Алекса, когда застучали своего сына за чтением жесткого американского детектива. И так далее. В отношении секса – то же самое. Родители опасались, что мы будем растлевать друг друга и падем жертвами того порока, который пугал их больше всего: один станет заядлым онанистом, другой – манерным педиком, а третий неисправимым бабником. Переживая за нас, они боялись, что их сына совратит одноклассник, случайный попутчик в поезде или какая-нибудь дрянная девчонка. Насколько же их страхи опережали наш опыт...

Как-то раз старина Джо Хант, будто припоминая вызов, брошенный ему Адрианом, предложил нам обсудить причины Первой мировой войны, а именно роль убийцы эрцгерцога Фердинанда. В ту пору мы в большинстве своем были

⁷ Мировоззрение (нем.).

⁸ Буря и натиск (нем.).

максималистами: «да – нет», «хорошо – плохо», «виновен – невинновен» или хотя бы, как в той истории с Маршаллом, «хаос – великий хаос». Нас увлекали те игры, которые можно либо выиграть, либо проиграть, но не свести вничью. Поэтому для некоторых сербский террорист, чье имя давно вылетело у меня из головы, был кругом виновен, потому как воплощал собой ту историческую силу, которая столкнула враждебные государства: «Балканы были пороховой бочкой Европы» и все такое. Самые ярые анархисты, вроде Колина, заявляли, что все эти события произошли по воле случая, что мир пребывает в состоянии непреходящего хаоса и только первобытный инстинкт рассказчика, сам по себе являющийся отрывком религии, задним числом придает хоть какой-то смысл всему, что могло произойти, а могло и не произойти.

Коротким кивком Хант засвидетельствовал подрывные идеи Колина, будто показывая, что мрачный нигилизм – естественный побочный продукт юности, который нужно перерасти. Учителя и родители не уставали нам внушать, что они тоже когда-то были молоды, а потому знают, что говорят. Это всего лишь некий этап, твердили они. Вы его перерастете; жизнь покажет вам, что такое реализм и реалистичность. Но в то время у нас не укладывалось в голове, что они когда-то могли быть похожи на нас, и мы не сомневались, что понимаем жизнь – а также истину, мораль, искусство – куда правильнее, чем старшее поколение, запятнавшее себя

компромиссами.

– Финн, что-то вас сегодня не слышно. Вы же сами запустили этот снежный ком. Стали, так сказать, нашим сербским террористом. – Хант помолчал, чтобы аллюзия внедрилась в умы. – Не будете ли вы так любезны поделиться своими мыслями?

– Право, не знаю, сэр.

– Чего вы не знаете?

– Ну, в некотором смысле мне не дано знать, чего я не знаю. С философской точки зрения это самоочевидно. – Он выдержал небольшую паузу, и мы в очередной раз начали гадать: то ли это была тонкая издевка, то ли высокоинтеллектуальная сентенция, недоступная нашему пониманию. – Нет, в самом деле, разве поиски виновного – это не лукавство? Мы хотим возложить ответственность на конкретную личность, чтобы оправдать всех остальных. Еще бывает, что мы возлагаем ответственность на исторический процесс, чтобы обелить конкретных личностей. Или говорим, что все это – анархический хаос, но результат тот же самый. По-моему, здесь наблюдается – наблюдалась – цепочка индивидуальных ответственностей, все звенья которой были необходимы, но эта цепочка не настолько длинна, чтобы теперь каждый мог обвинять всех остальных. Разумеется, мое желание возложить на кого-либо ответственность продиктовано скорее моим собственным складом ума, нежели беспристрастным анализом тех событий. В этом и состоит ключевой вопрос ис-

тории, не так ли, сэр? Проблема субъективной *versus* объективной интерпретации, необходимость знакомства с историей самого историка, без которой невозможно оценить предлагаемую нам версию.

В классе повисло молчание. Нет, Финн не прикалывался, ничуть.

Старина Джо Хант посмотрел на часы и улыбнулся:

– Финн, мне через пять лет на пенсию. Если пожелаете занять мое место, охотно дам вам рекомендацию.

Что характерно: старикан тоже не прикалывался.

Однажды утром, во время общего построения, директор загробным голосом, которым обычно возвещал исключение из школы или катастрофическое поражение в спортивных соревнованиях, объявил, что у него для нас печальное известие: на выходных скончался ученик шестого физико-математического класса по фамилии Робсон. Под шелест приглушенных возгласов мы узнали, что Робсон погиб во цвете юности, что его кончина стала большой потерей для нашей школы и что все мы будем мысленно присутствовать на похоронах. Директор сказал все положенные слова, за исключением тех, что хотел услышать каждый: как, почему и, если смерть была насильственной, от чьей руки.

– Эрос и Танатос, – прокомментировал Адриан перед началом первого урока. – Танатос вновь побеждает.

– Эрос и Танатос были Робсону до лампочки, – возразил

Алекс.

Мы с Колином согласно кивнули. Нам ли не знать – Робсон пару лет учился с нами в одном классе: неприметный, скучный мальчишка, нисколько не интересовался литературой, успевал ни шатко ни валко, никому ничего плохого не делал. А теперь насолил всем сразу: затмил остальных своей безвременной кончиной. «Во цвете юности» – надо же было такое загнуть: Робсон, каким мы его знали, был не цветком, а овощем.

Никто ни словом не обмолвился ни о болезни, ни о мотоциклетной аварии, ни о взрыве газа, а через несколько дней до нас дошел слух (читай: Браун из шестого физико-математического), проливший свет на то, чего не знало или не захотело сказать школьное начальство. Робсон обрюхатил свою девчонку, повесился на чердаке и был вынут из петли только на третьи сутки.

– Кто бы мог подумать, что он допрет, как люди вешаются.

– Не забывай, он в физматклассе учился.

– Но там ему не показывали, как скользкий узел завязывать.

– Да это только в кино бывает. И перед казнью. Узел любой сгодится. Просто мучиться будешь дольше.

– Как думаешь, что у него за телка?

Мы стали перебирать все известные нам варианты: стыдливая девственница (теперь уже бывшая), вульгарная торговка, опытная женщина постарше, шлюха с букетом вене-

рических болезней. Но Адриан перенаправил наш интерес в другое русло.

– У Камю сказано, что самоубийство – единственная по-настоящему серьезная философская проблема.⁹

– Если не считать этику, политику, эстетику, природу бытия и прочую дребедень. – У Алекса в голове зазвенел металл.

– Единственная *по-настоящему* серьезная философская проблема. Основополагающая, которая определяет все остальное.

После длительных обсуждений мы пришли к выводу, что самоубийство Робсона может считаться философской проблемой только в арифметическом смысле: потенциально увеличив население Земли на единицу, он не счел себя вправе способствовать перенаселению планеты. Но во всех других отношениях, как мы рассудили, Робсон подвел и нас, и всю серьезную мысль. Его поступок был антифилософским, эгоцентричным и далеким от эстетики, короче говоря – неправильным. А предсмертная записка, которая, по слухам (опять же читай: по Брауну), гласила: «Мама, прости», оставила у нас ощущение, что текст мог быть куда более информативным.

Возможно, мы бы проявили больше сочувствия к Робсону, если бы не один кардинальный, незыблемый факт: Роб-

⁹ Цитируется философское эссе Альбера Камю «Миф о Сизифе» (1942).

сон был нашим сверстником и, как нам казалось, совершенно заурядным типом, однако он не просто подцепил девчонку, но и определенно имел с ней секс. Вот паршивый ублюдок! Почему он, а не мы? Почему ни один из нас даже не получил отлуп? По крайней мере, унижение прибавило бы нам житейской мудрости, дало бы основания для негативно-го бахвальства («На самом деле, она сказала буквально следующее: прыщавый кретин с харизмой башмака»). Из классической литературы мы знали, что Любовь неотделима от Страдания, и с готовностью поучились бы страдать, будь у нас хоть эфемерная, хоть гипотетическая перспектива Любви.

В этом заключалось еще одно наше опасение: а вдруг Жизнь окажется совсем не такой, как Литература? Взять бы наших родителей – разве они сошли со страниц Литературы? В лучшем случае они могли претендовать на статус наблюдателей или зевак, нитей занавеса, на фоне которого выступают реальные, настоящие, значительные вещи. Например? Да все то, что составляет Литературу: любовь, секс, мораль, дружба, счастье, страдание, предательство, измена, добро и зло, геройство и подлость, вина и безвинность, честолюбие, власть, справедливость, революция, война, отцы и дети, противостояние личности и общества, успех и поражение, убийство, суицид, смерть, Бог. И сова. Конечно, имеются и другие литературные жанры – умозрительные, рефлексивные, слезливо-автобиографичные, но это сплош-

ная фигня. Настоящую литературу интересуют психологические, эмоциональные и социальные истины, которые выявляются в поступках и мыслях персонажей; роман – это развитие характера во времени. Во всяком случае, так учил нас Фил Диксон. И единственной личностью – не считая Робсона, – чья жизнь хотя бы отдаленно напоминала роман, оказался Адриан.

– А почему твоя мама бросила отца?

– Точно не знаю.

– У нее появился другой?

– Она наставила отцу рога?

– А у твоего папы любовница была?

– Не имею представления. Они твердили, что я все пойму, когда вырасту.

– Предки вечно юлят. А я им говорю: нет, вы мне объясните *сейчас*. – На самом деле я ничего такого не говорил. И в нашем доме, к моему смущению и разочарованию, не было никаких тайн.

– Может, твоя мать себе молодого нашла?

– Откуда я знаю? Мы же у них не встречаемся. Она всегда в Лондон приезжает.

Бесполезняк. В романе Адриан ни за что не смирился бы с таким положением дел. Коль скоро ты попал в ситуацию, достойную пера литератора, то и веди себя по законам жанра, а иначе какой от этого прок? Ему бы посидеть в засаде или скопить энную сумму из карманных денег и нанять частного

детектива, а то и заручиться нашей поддержкой, чтобы вчетвером отправиться на Поиски Истины. Или это уже была бы не литература, а детская сказка?

В конце учебного года, на последнем уроке истории, старина Джо Хант, который провел свою полусонную паству через дебри Тюдоров и Стюартов, викторианцев и эдвардианцев, Возвышения и последующего Упадка Империи, предложил нам оглянуться на минувшие века и попытаться сделать выводы.

– Давайте начнем с простого на первый взгляд вопроса: что такое История? Какие будут соображения, Уэбстер?

– История – это ложь победителей, – выпалил я, слегка поспешив.

– Да, я опасался, что вы именно это и скажете. Ну, если уж на то пошло, не будем забывать, что история – это также самообман побежденных. Симпсон?

Колин лучше меня собрался с мыслями.

– История – это сэндвич с луком, сэр.

– Почему же?

– Да потому, что и то и другое повторяется, сэр. И оставляет после себя отрывку. В этом учебном году мы не раз видели тому подтверждение. Один и тот же навязший в зубах сюжет, одни и те же крайности – тирания и бунт, война и мир, обогащение и обнищание.

– Не многовато ли начинки для одного сэндвича?

Мы смеялись дольше положенного, войдя в предканикулярный раж.

– Финн?

– История – это уверенность, которая рождается на том этапе, когда несовершенства памяти накладываются на нехватку документальных свидетельств.

– Вот как? Кто же такое сказал?

– Лагранж, сэр. Патрик Лагранж. Француз.

– Тогда понятно. Будьте добры, приведите пример.

– Самоубийство Робсона, сэр.

По классу пролетел общий вдох; многие стали крутить головами, рискуя получить замечание. Но Хант, как и другие учителя, отводил Адриану особую роль. Когда кто-нибудь из нас позволял себе провокационное высказывание, его пропускали мимо ушей как мальчишество – недостаток, который с возрастом проходит. Провокации Адриана почему-то приветствовались как поиски истины, пусть даже неумелые.

– Какое это имеет отношение к делу?

– Это историческое событие, сэр, хотя и скромного масштаба. Зато свежее. Поэтому его легко трактовать как историю. Мы знаем, что Робсон мертв, знаем, что у него была подруга, знаем, что она беременна – точнее, была беременна. Что еще мы имеем? Единственный документ: предсмертную записку, в которой сказано: «Мама, прости» – если верить Брауну. Эта записка цела? Или уничтожена? Имелись ли у Робсона другие побуждения или мотивы, наряду с очевид-

ными? В каком душевном состоянии он пребывал? Можно ли наверняка утверждать, что ребенок – от него? У нас нет ответов, даже сейчас, когда эти события еще свежи в памяти. А если кто-нибудь возьмется написать историю Робсона через пятьдесят лет, когда его родителей уже не будет в живых, а подруга уедет куда глаза глядят и вообще не захочет о нем вспоминать? Улавливаете суть проблемы, сэр?

Мы все уставились на Ханта, опасаясь, что в этот раз Адриан зашел слишком далеко. Слово «беременна» висело в воздухе меловой пылью. А дерзкое предположение о сомнительном отцовстве, которое выставило Робсона школьником-рогоносцем... Через некоторое время учитель ответил:

– Я улавливаю суть проблемы, Финн. Но полагаю, что вы недооцениваете историю. И кстати, историков тоже. Давайте примем, в рамках сугубо научной дискуссии, что бедный Робсон будет представлять собой определенный исторический интерес. Историки во все века сталкивались с нехваткой прямых доказательств. Им к этому не привыкать. Позвольте напомнить, что в данном случае, по всей видимости, было проведено расследование, а значит, осталось заключение коронера. Вполне возможно, что Робсон вел дневник, писал письма, делал телефонные звонки, содержание которых стало известно. Его родители, скорее всего, отвечали на соболезнования. А через пятьдесят лет, учитывая нынешнюю продолжительность жизни, многие его однокласс-

ники будут еще способны давать интервью. Наверное, дело не столь безнадежно, как вам представляется.

– Но ничто не заменит показаний самого Робсона, сэр.

– С одной стороны, да. Но с другой, историки по долгу службы относятся к показаниям участников событий с известной долей скепсиса. Причем особое недоверие вызывают те заявления, которые сделаны с прицелом на будущее.

– Вам виднее, сэр.

– А поступки человека зачастую выдают его душевное состояние. Тиран вряд ли будет писать записку с просьбой уничтожить врага.

– Вам виднее, сэр.

– Естественно.

Можно ли принять это как дословное воспроизведение их диалога? Почти наверняка нет. Но я по мере сил соблюдаю точность.

После окончания школы мы поклялись в дружбе до гроба и разошлись в разные стороны. Адриан, как и предполагалось, получил стипендию для поступления в Кембридж. Я начал изучать историю в Бристольском университете. Колин обосновался в Суссексе; Алекс пошел по отцовским стопам – в бизнес. Мы писали друг другу письма, как делали в ту эпоху все нормальные люди, даже молодые. Но эпистолярным жанром мы владели слабо, а потому наше ерничество иногда заслоняло важность содержания. Начать письмо сло-

вами: «Сим подтверждаю получение Вашей эпистолы от 17-го числа сего месяца» – казалось нам верхом остроумия, по крайней мере на первых порах.

Мы решили встречаться каждый раз, когда трое новоиспеченных студентов будут приезжать домой на каникулы, но это не всегда получалось. А переписка, можно сказать, изменила динамику наших отношений. Мы трое все более вяло писали друг другу, зато Адриану – с возрастающим энтузиазмом. Нам хотелось его внимания и одобрения; мы его обхаживали, ему первому рассказывали самые крутые истории, причем каждый из нас считал, что сделался – и совершенно заслуженно – его ближайшим другом. Каждый из нас постоянно заводил новых знакомых, тогда как Адриан, в нашем понимании, был одинок: получалось, что ближе нашей троицы у него по-прежнему никого нет и что он зависим от нас. А может, мы просто не признавались себе, что сами попали от него в зависимость?

А потом жизнь завертелась и время ускорило ход. Попросту говоря, у меня появилась девушка. Нет, я, конечно, и раньше с кем-то встречался, но прежние подруги либо подавляли меня излишней самоуверенностью, либо помножали свою нервозность на мою. Видимо, существует какой-то секретный мужской код, передаваемый от умудренных двадцатилетних робким восемнадцатилетним; единожды его усвоив, человек обретает способность «замутить», а если повезет, то и «перепихнуться». Но я так и не постиг, не

освоил эту науку – до сих пор, как видно, ею не овладел. Мой «метод» заключался в отсутствии метода; приятели считали такой подход совершенно никчемным и, разумеется, были правы. Даже беспроектный, как считается, вариант «выпить – потанцевать – проводить до дому – попроситься на кофе» требовал разбитного нрава, которого у меня не было. Я вечно переминался с ноги на ногу, отпускал замысловатые реплики, а сам уже знал, что останусь на бобах. Помню, будучи первокурсником, я перебрал на какой-то вечеринке и стал клевать носом, а мимо проходила девушка, которая заботливо спросила, как я себя чувствую, и я на автомате ответил: «У меня маниакально-депрессивный психоз» – в тот момент это показалось мне более оригинальным, чем «тоска». Когда она, бросив: «И этот туда же», поспешила скрыться, я понял, что не только не сумел выделиться из толпы, но и выбрал для первого знакомства самую провальную фразу.

Мою девушку звали Вероника Мэри Элизабет Форд; чтобы выведать эту информацию (я имею в виду полное имя), мне потребовалось два месяца. Она училась на испанском отделении, увлекалась поэзией и происходила из семьи высокопоставленного чиновника. Рост – примерно метр пятьдесят пять, округлые, мускулистые икры, приглушенно-каштановые волосы до плеч, серо-голубые глаза, очки в голубой оправе, легкая, но сдержанная улыбка. Я считал ее симпатичной. Впрочем, любая девушка, которая от меня не шаргалась, скорее всего, показалась бы мне симпатичной. Я не

пытался рассказывать ей, что тоскую, потому что совсем не тосковал. У нее был проигрыватель «блэк бокс» – на порядок лучше моего «дансетта», и музыкальный вкус у нее тоже был изысканней моего: то есть она презирала Дворжака и Чайковского, которыми я восхищался, зато слушала хоралы и зонги. Просматривая мою коллекцию пластинок, она время от времени изгибала губы в улыбке, но чаще хмурилась. Не спасло меня даже то, что я своевременно убрал с глаз долой увертюру «1812 год» и саундтрек к фильму «Мужчина и женщина». На подходах к моему обширному разделу поп-музыки оставалось еще достаточно сомнительного материала: Элвис, «Битлз», «Роллинги» (ну, против этих никто не возражал), а еще «Холлиз», «Энималз», «Муди Блюз» и двойной альбом Донована под названием (с маленькой буквы) «подарок от цветка саду».

– Тебе нравятся такие вещи? – бесстрастно поинтересовалась она.

– Под них танцевать хорошо, – ответил я, слегка оцетившись.

– Ты под них танцуешь? Здесь? В комнате? Один?

– Вообще-то, нет. – Хотя именно так и было.

– А я не танцую, – изрекла Вероника тоном культуролога и вместе с тем законодательницы: на тот случай, если мы будем встречаться.

Надо пояснить, какой смысл тогда вкладывали в слово «встречаться», поскольку сегодня оно употребляется в дру-

гом значении. Недавно я разговорился с одной женщиной, чья дочь прибежала к ней в жутком расстройстве. Девушка училась на втором курсе университета и спала с молодым человеком, который – ничуть не скрывая, в том числе и от нее, – одновременно сожительствовал с несколькими девушками. По сути дела, он устраивал им пробы, чтобы решить, с которой из них впоследствии будет «встречаться». Дочка той женщины была вне себя, но не потому, что ее возмутила такая система, хотя ей и виделась здесь определенная несправедливость, а потому, что в итоге выбор пал на другую.

Я почувствовал себя каким-то реликтом, сохранившимся от древней, забытой цивилизации, где средством денежного обмена служили фигурки из репы. В «мое время» – впрочем, в ходе нашего разговора я вовсе не претендовал на обладание временем, а сейчас тем более, – отношения складывались так: познакомился с девушкой, запал на нее, попытался произвести впечатление, пару раз привел в свою компанию – например, в паб, потом сходили куда-нибудь вдвоем, потом еще разок, и после более или менее жаркого поцелуя у парадного подъезда можно было считать, что вы, так сказать, официально «встречаетесь». И, только связав себя полупубличными обязательствами, ты получал возможность узнать, светит ли тебе что-нибудь в плане секса. Зачастую оказывалось, что ее тело охраняется не менее рьяно, чем промысловая запретная зона.

Вероника мало отличалась от большинства сверстниц. Ес-

ли им было с тобой комфортно, они на людях брали тебя под руку, целовались до румянца и даже могли сознательно прижаться к тебе бюстом, при условии что между вами было не менее пяти слоев одежды. Никогда не заговаривая об этом вслух, они прекрасно понимали, что творилось у тебя в штанах. А о большем следовало забыть, всерьез и надолго. Попадались, правда, и более сговорчивые: мне доводилось слышать, что некоторые соглашались на взаимную мастурбацию, а совсем уж раскованные были готовы, как тогда говорилось, на «полную близость». Всю серьезность этой «полноты» мог оценить только тот, кто прошел через изматывающий полупорожний опыт. А по мере развития близких отношений каждая сторона исподволь оказывала давление на другую: либо капризами, либо посулами и обязательствами, вплоть до того этапа, который поэт называл «торг вокруг кольца»¹⁰.

Следующие поколения, вероятно, объяснят все это набожностью или ханжеством. Но все девушки – или женщины, – с которыми у меня случались, если можно так выразиться, предполовые связи (одной Вероникой дело не огра-

¹⁰ Фраза из стихотворения английского поэта, прозаика и джазового критика Филипа Ларкина (1922–1985) «Annus Mirabilis» («Год чудес»). У Ларкина «Год чудес» – это первый (причем запоздалый) сексуальный опыт лирического героя на фоне «сексуальной революции» 1960-х гг. Заглавие стихотворения позаимствовано у английского поэта XVII в. Джона Драйдена, в чьем стихотворении 1667 г. описаны трагические события 1665–1666 гг., в частности Большой пожар в Лондоне. Как принято считать, «чудеса» заключались в том, что описанные Драйденом события повлекли за собой относительно небольшое число жертв.

ничилось), достаточно вольно распоряжались своим телом. И моим, кстати, тоже, если применять единый критерий. Я бы не сказал, что предполовые связи были безрадостными или бесплодными, разве что в буквальном смысле слова. Кроме того, эти девушки заходили гораздо дальше, чем в свое время их матери, да и я на тот момент зашел гораздо дальше своего отца. По моему разумению. И как ни крути, лучше хоть что-то, чем вообще ничего. А между тем Колин и Алекс, судя по их намекам, завели себе таких подруг, которых не волновала охрана запретных зон. Впрочем, надо учитывать, что в вопросах секса подвирали все без исключения. И в этом плане сегодня ничего не изменилось.

Если хотите знать, я не был совсем уж девственником. Между школой и университетом я кое-чему научился, но эти два-три бурных эпизода не наложили на меня сколь-нибудь заметного отпечатка. Странное дело: чем милее девушка, чем больше тебя с ней связывает, тем меньше шансов уложить ее в постель – так мне казалось. Не исключено, конечно (правда, эту мысль я сформулировал гораздо позже), что меня тянуло именно к таким женщинам, которые говорят «нет». Но разве бывает настолько извращенная тяга?

«Ну почему, – спрашиваешь, – почему нет?» – и чувствуешь, как твою руку железной хваткой удерживают от всяких поползновений.

«Такое ощущение, что этого делать нельзя».

Подобный обмен репликами частенько возникал у жарко-

го камина под свист закипающего чайника. А против «ощущения» аргументов нет, ведь оно составляет прерогативу женщин, тогда как мужчины остаются толстокожими недоучками. А потому «такое ощущение, что этого делать нельзя» обладало куда большей убедительной силой и неопровержимостью, чем любая апелляция к церковным канонам или материнским советам. Вы скажете: но ведь тогда уже наступили шестидесятые годы, разве не так? Так-то оно так, только не для всех и не везде.

Мои книжные полки имели у Вероники куда больший успех, чем коллекция грампластинок. Раньше книжки карманного формата приходили к читателю в униформе: издательство «Пингвин» выпускало художественную литературу в оранжевых обложках, а издательство «Пеликан» – общегуманитарную литературу в синих обложках. Преобладание синего цвета в книжном шкафу служило мерилom серьезности. Одни авторы чего стоили: Ричард Хоггарт, Стивен Рансимен, Хейзинга, Айзенк, Эмпсон... плюс «Быть честным перед Богом» епископа Джона Робинсона рядом с книжечками карикатуриста Ларри.¹¹ Вероника сделала мне большой

¹¹ Ричард Хоггарт (р. 1918) – видный английский социолог литературы и культуролог. Стивен Рансимен (1903–2000) – британский историк-медиевист, специалист по истории Византии. Хейзинга, Йохан (1872–1945) – нидерландский философ, историк, культуролог. Айзенк, Ганс-Юрген (1916–1997) – британский ученый-психолог, разработавший методику измерения коэффициента интеллекта (IQ) – так называемых тестов Айзенка. Эмпсон, Уильям (1906–1984) – англий-

комплимент, решив, будто я все это прочел, и даже не заподозрила, что самые потрепанные издания куплены на книжных развалах.

Ее собственную библиотечку составляли в основном поэтические томики и брошюры: Элиот, Оден, Макнис, Стиви Смит, Том Ганн, Тед Хьюз. С ними соседствовали произведения Оруэлла и Кестлера, выпущенные «Книжным клубом левых», какие-то старые романы в кожаных переплетах, две-три детские книжки с иллюстрациями Артура Рэкхема и ее любимая – «Я захватила замок»¹². У меня не было ни малей-

ский литературный критик. Епископ Джон Робинсон (1919–1983) – видный деятель Англиканской церкви, который в своих богословских произведениях стремился, по его словам, «расширить границы христианской мысли». Одним из его наиболее спорных трудов стала написанная в 1963 г. книга «Быть честным перед Богом» («Honest to God»). Карикатурист Ларри – Ларри Райт (р. 1940), американский политический карикатурист, в 1965–1976 гг. публиковался в газете «Детройт фри пресс», после 1976-го – в «Детройт ньюс».

¹² Оден, Уистен Хью (1907–1973) – английский поэт, оказавший значительное влияние на литературу XX в. В 1939 г. эмигрировал в США. Стихотворение Одена «Похоронный блюз» (в переводе Иосифа Бродского, с которым Оден был дружен: «Часы останови, забудь про телефон...») получило широкую международную известность благодаря фильму «Четыре свадьбы и одни похороны» (1994). В настоящее время это стихотворение звучит на похоронах в Великобритании более чем в половине случаев. Макнис, Фредерик Луис (1907–1963) – британский поэт, критик, переводчик ирландского происхождения. Дебютировал вместе с У. Оденом. Долгие годы сотрудничал с Русской службой радио Би-би-си. Стиви Смит (Флоренс Маргарет Смит, 1902–1971) – английская поэтесса и романистка. Основными темами ее стихов стали смерть, одиночество, мифы, человеческая жестокость, религия. Том Ганн (1929–2004) – англо-американский поэт, лауреат многих литературных премий, мастер поэтической формы. Основные темы его произведений – гомосексуальные отношения, божественный образ жизни. Кес-

шего сомнения, что она-то прочла их все до единой и что это подходящий выбор, который, помимо всего прочего, служил естественным показателем ее ума и характера, тогда как мои книги, даже с моей собственной точки зрения, выполняли совершенно иную функцию: они тщились создать образ, к которому я мог только стремиться. Это несоответствие повергло меня в легкую панику, и я, просматривая собрание поэзии, решил блеснуть высказыванием Фила Диксона.

– Разумеется, всем любопытно, что будет делать Тед Хьюз, когда исчерпает запас животных.

– Неужели всем?

– Говорят, да, – беспомощно ответил я.

В устах Диксона эта фраза звучала остроумно и тонко, а

тлер, Артур (1905–1983) – британский прозаик и журналист, уроженец Венгрии. Написал ряд статей для Британской энциклопедии. Наиболее известен как автор романа «Слепящая тьма» (1940) о политических репрессиях в СССР. Инициатор и идеолог движения «Экзит» («Уход»), которое ратовало за право человека на добровольный уход из жизни. Кестлер, страдавший от тяжелой болезни, покончил с собой, приняв смертельную дозу снотворного. «Книжный клуб левых» – издательство, которое создал в 1935 г. Виктор Голланц в целях публикации дешевых книг, освещающих вопросы социал-демократизма и лейбористского движения. Артур Рэкхем (1867–1939) – английский художник, работавший в жанре книжной графики. Проиллюстрировал практически всю классическую детскую литературу на английском языке («Алиса в Стране чудес», «Ветер в ивах», «Питер Пэн» и др.). Нередко наделял изображаемых персонажей чертами портретного сходства с самим собой. В 1914 г. состоялась его персональная выставка в Лувре. «Я захватила замок» (1948) – первый роман английской писательницы Дороти (также Доди, Доуди) Смит (1986–1990), перу которой принадлежит знаменитая книга «Сто один далматинец» (1956), экранизированная на киностудии Уолта Диснея в 1961 г.

В МОИХ – ПОШЛОВАТО.

– У поэта, в отличие от прозаика, материал неиссякаем, – назидательно сказала она. – Потому что у них отношение к материалу разное. А ты из Теда Хьюза делаешь какого-то зоолога. Но даже зоологам животные не надоедают, ты согласен?

Вздернув одну бровь над оправой очков, она сверлила меня взглядом. Вероника была на пять месяцев старше, но иногда казалось, что на пять лет.

– Так говорил мой учитель литературы, только и всего.

– Ну, школа уже позади, теперь мы должны учиться мыслить самостоятельно, правда?

Это «мы» вселило в меня маленькую надежду, что еще не все потеряно. Она пыталась меня перевоспитать – мне ли было сопротивляться? В день нашего знакомства она почти сразу захотела узнать, почему я ношу часы циферблатом вниз, на внутренней стороне запястья. Не сумев дать ей внятный ответ, я просто переместил часы на внешнюю сторону, и время оказалось снаружи, как у любого нормального взрослого человека.

Учился я охотно, свободное время проводил с Вероникой, потом возвращался в студенческое общежитие и у себя в комнате мастурбировал до бурного оргазма, воображая, как она распласталась подо мной или выгнулась сверху. Благодаря нашему тесному, ежедневному общению я с гордостью приобщался к хитростям макияжа и женского белья, к

тонкостям депиляции, а главное – к тайнам и последствиям месячных. У меня даже возникла легкая зависть к этому регулярному, исконному напоминанию о женской сущности, о великой цикличности природы. Примерно так же напыщенно я выразился в тот день, когда попытался объяснить это чувство.

– Ты просто романтизируешь то, чего не имеешь. Единственное, что здесь можно сказать: зато тебе не грозит беременность.

Учитывая характер наших отношений, эта фраза показалась мне довольно вызывающей.

– Надеюсь, тебе тоже – мы живем не в Назарете.

Повисла одна из тех пауз, которые возникают у каждой пары и свидетельствуют о молчаливом согласии не обсуждать острый вопрос. А что тут было обсуждать? Разве только неписанные правила наших взаимных уступок. Если я не получал секса, то, с моей точки зрения, имел право рассматривать наш платонический роман как уговор, по которому женщина, выполняя свою часть обязательств, не спрашивает мужчину о перспективах их отношений. Во всяком случае, мне этот уговор виделся именно так. Но в ту пору я во многом ошибался, как, впрочем, и сейчас. Например: с чего я взял, что она девственница? Напрямую я не спрашивал, а она держала язык за зубами. Мое убеждение основывалось на том, что она мне отказывала, – и где же, спрашивается, логика?

На каникулах я получил приглашение съездить на выходные к ее родителям. Жили они в Кенте, на орпингтонском направлении, в одном из тех предместий, которые в последнюю минуту прекратили заливать природу бетоном и с тех пор самодовольно объявляли себя загородной местностью. В поезде, отходившем от вокзала Черинг-Кросс, меня терзала мысль, что со своим огромным чемоданом – другого у меня попросту не было – я выгляжу как собравшийся на дело грабитель. По прибытии Вероника представила меня своему отцу, который открыл багажник автомобиля и хохотнул, взяв у меня чемодан:

– Не иначе как обосноваться у нас решили, молодой человек.

Этот рослый краснолицый толстяк вызывал у меня неприязнь. Не потому ли, что от него пахло пивом? В такой ранний час? Как такой громила мог стать отцом столь миниатюрной дочери?

Управляя своим дорогушим «хамбер-супер-снейпом», он только вздыхал, досадуя на всех идиотов-водителей. Я в одиночестве сидел сзади. Время от времени он тыкал куда-то пальцем – видимо, показывал мне места, достойные внимания, но я не знал, что отвечать. «Церковь Святого Михаила, кирпично-каменная, сильно облагорожена реставраторами Викторианской эпохи». «Наше излюбленное „Кафе Ройяль“ – вуаля!» «Справа фахверковый дом – винный мага-

зин». Я обратился за подсказкой к профилю Вероники, но увы. У них был краснокирпичный особняк, украшенный изразцами; к дому вела гравийная дорожка. Мистер Форд распахнул парадную дверь и прокричал в пустоту:

– Этот юноша к нам на месяц!

Мне бросился в глаза густой глянец темной мебели и такой же густой глянец на листьях экзотического комнатного растения. словно по древним законам гостеприимства, отец Вероники подхватил мой чемодан, оттащил его, притворно сгибаясь под воображаемой тяжестью, в мансарду и швырнул на кровать. А потом указал на маленькую комнатную раковину:

– Если ночью приспичит, можешь сюда отлить.

Я молча кивнул. Мне было непонятно, строит он из себя рубаху-парня или показывает, какое я ничтожество и плебей.

Брат Вероники, Джек, особой загадки не представлял: здоровяк-спортсмен, смеялся по поводу и без повода, поддразнивал младшую сестру. Ко мне он отнесся со сдержанным любопытством, как будто я был отнюдь не первым, кого сюда привозили на показ. Мать Вероники не обращала внимания на эти подковерные игры: она расспросила меня про учебу и побежала на кухню. На вид ей было слегка за сорок, но этот возраст казался мне в то время весьма почтенным, как и возраст ее мужа. Вероника мало походила на свою

мать: та была выше среднего роста, с округлыми чертами лица и перехваченными лентой волосами, открывавшими широкий лоб. Что-то выдавало в ней художественную натуру: то ли яркие палантины, то ли артистическая рассеянность, то ли мурлыканье оперных арий – теперь уже и не вспомнить.

На нервной почве у меня случился жуткий запор – это мое основное и самое достоверное воспоминание. Остальное – лишь расплывчатые, обрывочные впечатления, которые, вполне возможно, додуманы позднее: например, как Вероника, которая сама же притащила меня в родительский дом, вначале примкнула к своим родным и вместе с ними устроила мне смотрины, хотя сейчас уже не определить, стало это причиной или следствием моей робости. За ужином в пятницу началась проверка моего социального и интеллектуального уровня; я чувствовал себя как на допросе. Потом мы смотрели новости и натянато обсуждали международное положение, пока не пришло время ложиться спать. Будь мы героями романа, отец семейства запер бы входную дверь, а потом кое-кто прокрался бы по лестнице, чтобы попасть в жаркие объятия. Но нет; Вероника даже не поцеловала меня на ночь, даже не сделала вид, что собирается проверить, есть ли у меня в комнате полотенца и все прочее. Видно, боялась насмешек брата. Деваться было некуда: я разделся, ополоснулся, пустил мстительную струю в комнатную раковину, надел пижаму и долго маялся без сна.

Когда я спустился к завтраку, оказалось, что дома нет ни-

кого, кроме миссис Форд. Остальные ушли на прогулку – Вероника убедила родных, что с утра я люблю поваляться в постели. Наверное, я не сумел должным образом скрыть свою реакцию: миссис Форд все время косилась в мою сторону, пока готовила еду, и оттого бекон обжарился неровно, а один яичный желток растекся по сковороде. У меня не было опыта беседы с матерями девушек.

– Давно вы здесь живете? – выдавил я, помолчав, хотя ответ был мне хорошо известен.

Она выдержала паузу, налила себе чаю, выпустила на сковороду еще одно яйцо, прислонилась к серванту с тарелками и сказала:

– Не поатакай Веронике.

Я опешил. Что это было: оскорбительное вмешательство в наши отношения или призыв к доверительному «обсуждению» Вероники? От растерянности я лишь спросил чопорным тоном:

– Что вы имеете в виду, миссис Форд?

Она улыбнулась мне без тени снисходительности, едва заметно покачала головой и ответила:

– Мы здесь живем десять лет.

Теперь она вызывала у меня почти такое же недоумение, как и ее домочадцы, но, по крайней мере, держалась приветливо. Она положила мне добавку яичницы-глазуньи, хотя я больше не хотел и не просил. Растекшийся желток остался на сковороде; миссис Форд небрежно смахнула его в мусор-

ное ведро, а затем плюхнула раскаленную сковородку в мокрую раковину. Вода зашипела, повалил пар, и миссис Форд рассмеялась, как будто осталась довольна этим небольшим кухонным происшествием.

Когда Вероника в сопровождении папаши и брата пришла с прогулки, я ожидал продолжения смотрин, а то и какого-нибудь нового подвоха или розыгрыша, но вместо этого услышал вежливые вопросы: как спалось, удобная ли комната. По идее, я мог бы заключить, что меня уже держат за своего, но впечатление было такое, будто я им уже осточертел и они ждут не дождутся, чтобы выходные поскорей закончились. Возможно, у меня начиналась паранойя. Но был и положительный момент: Вероника стала более открыто проявлять свою теплоту, а за чаем даже положила руку мне на локоть и довольно поиграла моей шевелюрой. А потом повернулась к брату и спросила:

– Как по-твоему, этот подойдет?

Джек мне подмигнул; я не смог ответить ему тем же. У меня возникло такое чувство, будто меня застучали за кражей полотенец или за порчей ковра.

А в остальном все шло более или менее гладко. Перед сном Вероника проводила меня в мансарду и наградила страстными поцелуями. В воскресенье на обед подали жареную баранью ногу, из которой торчали гигантские пучки розмарина, делавшие ее похожей на рождественскую елку. Поскольку родители привили мне вежливость, я сказал, что

баранина просто великолепна. И тут же заметил, как Джек подмигнул отцу, словно говоря: «Ну и лох!» Однако мистер Форд, хохотнув, изрек: «Все правильно, поддерживаю предыдущего оратора», а миссис Форд меня поблагодарила.

Когда перед отъездом я спустился вниз, чтобы попрощаться, мистер Форд выхватил у меня чемодан и обратился к жене:

– Надеюсь, дорогая, ты пересчитала серебряные ложки?

Она не стала отвечать и только улыбнулась мне почти заговорщической улыбкой. Братец Джек попрощаться не вышел; Вероника с отцом уселись на переднее сиденье, а я опять на заднее. Миссис Форд стояла у крыльца под освещенной солнцем глицинией. Когда мистер Форд включил передачу и колеса зашуршали по гравию, я на прощанье помаhal, и миссис Форд тоже помахала, но не поднятой ладонью, а каким-то странным жестом в горизонтальной плоскости, на уровне талии. Тут я пожалел, что не выведал у нее никаких подробностей.

Чтобы избавить себя от повторного обзора местных чудес по указке мистера Форда, я сказал Веронике:

– Мне очень понравилась твоя мама.

– Похоже, у тебя есть повод для ревности, Врон. – Мистер Форд театрально ахнул. – А если вдуматься, и у меня тоже. Стреляемся на рассвете, мой юный друг?

Мой поезд опоздал из-за воскресных ремонтных работ. Дома я оказался уже к вечеру. Помню, как я наконец-то хо-

рошо просрался.

Через неделю с небольшим Вероника приехала в город, чтобы познакомиться с моей школьной компашкой. День прошел как-то бесцельно; ни она, ни я не хотели брать инициативу на себя. Побродили по галерее Тейт, дошли до Букингемского дворца, потом двинулись через Гайд-парк, чтобы посетить Уголок ораторов. Ораторов на привычном месте не оказалось; тогда мы потащились на Оксфорд-стрит, поглазели там на витрины модных магазинов и оказались на Трафальгарской площади, среди львов. Со стороны нас можно было принять за туристов.

Вначале я исподволь наблюдал, как реагируют на нее мои друзья, но потом мне стало интереснее, что она сама о них думает. Шуткам Колина она смеялась охотнее, чем моим, и мне, естественно, это не понравилось, а потом в лоб спросила Алекса, на чем его папаша сколотил свое состояние (к моему удивлению, он ответил: «На страховании морских перевозок»). Адриана, похоже, она не без удовольствия оставила на десерт. Я ей рассказывал, что он учится в Кембридже, и она для проверки назвала ему несколько имен. Два-три он подтвердил кивком и сказал:

– Да, знаю я эту братию.

Мне это показалось хамством, но Вероника не обиделась. Наоборот, она стала сыпать названиями колледжей и фамилиями профессуры, упомянула несколько студенческих ка-

фе, и я вообще остался не у дел.

– Откуда ты все это знаешь? – удивился я.

– Там Джек учится.

– Джек?

– Мой брат – ты что, забыл?

– Погоди, это который – тот, что помладше твоего отца?

Вроде получилось остроумно, однако Вероника даже не улыбнулась.

– И что же он там изучает? – спросил я, чтобы закрепить отвоеванные позиции.

– Теорию этики, – ответила она. – Как и Адриан.

«Вот спасибо, что сказала, а то я не знал, чем Адриан там занимается», – вертелось у меня на языке. Но я лишь насупился и заговорил с Колином о кинематографе.

Под конец мы стали фотографироваться; Вероника попросила, чтобы я «щелкнул ее со своими друзьями». Они вежливо выстроились в ряд, после чего Вероника их перегруппировала: самых рослых, Адриана и Колина, поставила по бокам от себя, задвинув Алекса за Колина. На фотографии она получилась еще более миниатюрной, чем в жизни. Много лет спустя, когда я разглядывал этот снимок в поисках некоторых ответов, мне пришло в голову, что она никогда не носила туфли на каблуках. Где-то я читал, что для привлечения внимания слушателей к своей речи нужно не повышать голос, а наоборот понижать, – на самом деле именно это и подогревает интерес. Очевидно, Вероника пошла на

такую же хитрость, только в отношении роста. Впрочем, я до сих пор не решил, способна ли она на хитрость. Когда мы с ней встречались, она была сама непосредственность. У меня просто не укладывалось в голове, что женщины могут быть такими корыстными. Наверное, это больше говорит обо мне, чем о ней. Но если бы я себя убедил – хотя бы теперь, спустя годы, – что она все делала по расчету, от этого было бы мало толку. То есть мне бы это все равно не помогло.

Мы всей компанией проводили ее пешком до вокзала Черинг-Кросс, посадили в поезд на Чизлхерст и шутливо выстроились в почетный караул, будто путь ее лежал по меньшей мере в Самарканд. Потом мы завалились в привокзальную гостиницу, взяли в баре по кружке пива и ощутили себя очень взрослыми.

– Миленькая девушка, – сказал Колин.

– Очень миленькая, – подтвердил Алекс.

– С философской точки зрения это самоочевидно! – почти выкрикнул я.

Волнение сказывалось. Я повернулся к Адриану:

– Что скажешь в развитие темы «очень миленькая»?

– Не ждешь ли ты поздравлений, Энтони?

– А у тебя что, язык отвалится?

– Раз так – естественно, поздравляю.

Но похоже, ему претило, что я напрашиваюсь на похвалу, а двое других мне потакают. Я слегка задергался – не хотелось, чтобы такой день пошел насмарку. Впрочем, задним

числом понимаю: это не день трещал по швам, а наш тесный круг.

– Стало быть, ты знаешь Братца Джека по Кембриджу?

– Нет, не знаю, и вряд ли мы с ним пересечемся. Он уже на последнем курсе. Но я наслышан – читал о нем статью в одном журнале. О нем и о его окружении, да.

Он явно хотел замять эту тему, но я не отставал.

– И что ты о нем думаешь?

Адриан умолк. Отпил чуток пива, а потом выпалил с неожиданной яростью:

– Терпеть не могу эту английскую манеру ерничать по поводу серьезных вещей. Просто не перевариваю.

В другой ситуации я бы воспринял это как выпад против нас троих. Но тогда я чуть не начал оправдываться.

На втором курсе мы с Вероникой продолжали встречаться. Как-то вечером она, не иначе как слегка захмелев, разрешила мне запустить руку ей в трусики. Я раздувался от гордости, подобравшись к заветной цели. Впустить внутрь мой палец она отказалась, но через пару дней мы без слов нашли способ продлить удовольствие. Сливаясь в поцелуе, мы опускались на пол. Я снимал часы, закатывал левый рукав и прижимал тыльную сторону ладони к полу, а Вероника терлась о мое неподвижное запястье, пока не достигала кульминации. Неделию-другую я чувствовал себя весьма искушенным, но, возвращаясь к себе в комнату и удовлетворяя

себя в одиночестве, испытывал нарастающую досаду. Где же здесь взаимные уступки? Что я выиграл и что проиграл? И еще одно открытие не давало мне покоя: вроде мы должны были стать ближе, но ничуть не бывало.

– Ты когда-нибудь задумываешься, в каком направлении будут развиваться наши отношения?

Этот вопрос Вероника задала без повода, с бухты-баракхты. Она забежала ко мне на чашку чаю и принесла нарезанный ломтиками кекс с изюмом.

– А ты?

– Я первая спросила.

У меня вертелось на языке (наверное, это не слишком галантно): «Ты для этого разрешила мне залезть к тебе в трусы?»

– А они обязательно должны развиваться в каком-нибудь направлении?

– Как и любые отношения, разве нет?

– Не знаю. У меня мало опыта.

– Послушай, Тони, я не собираюсь загнивать.

Я призадумался; во всяком случае, попытался. Но перед глазами возникал только пруд с застойной водой, толстый слой мусора и столб комаров. Не давались мне такие дискуссии.

– По-твоему, мы загниваем?

Она нервно вздернула бровь над оправой очков; эта привычка больше не вызывала у меня такой нежности, как раньше.

ше. Я продолжал:

– Разве есть только эти две возможности: либо загнивать, либо двигаться в определенном направлении?

– А какие еще?

– Приятно проводить время, наслаждаться сегодняшним днем и все такое. – Я это сказал – и тут же усомнился, что по-прежнему наслаждаюсь сегодняшним днем. И еще подумал: чего она добивается?

– Как по-твоему, мы с тобой подходим друг другу?

– Ты все время задаешь вопросы, а сама как будто уже знаешь ответы. Или заранее решила, что именно хочешь услышать. Ты выскажи свое мнение, а я отвечу, совпадает оно с моим или нет.

– Да ты, я вижу, трусоват, верно, Тони?

– Ну, я скорее... бесконфликтный.

– Что ж, не буду разрушать твой идеальный образ.

Мы допили чай. Оставшиеся ломтики кекса я завернул в целлофан и убрал в жестяную банку. Вероника чмокнула меня в уголок рта и ушла. В моем понимании, это было началом конца наших отношений. Или я намеренно запечатлел этот случай в памяти именно таким образом, чтобы перевести стрелки? Заставь меня ответить под присягой, что именно произошло и что было сказано, я бы с уверенностью назвал только три слова: «направление», «загнивать» и «бесконфликтный». Прежде я не считал себя бесконфликтным – или, наоборот, конфликтным. Да, вот еще что: я мог бы по-

клясться под присягой в истинности жестянки из-под печенья – она была винно-красного цвета, с улыбающимся профилем королевы на крышке.

Не хочу создавать впечатление, будто в Бристоле я только и делал, что корпел над книгами и встречался с Вероникой. Но все остальное как-то не вспоминается. Разве что одно-единственное, стоявшее особняком явление – приливная волна на реке Северн. В местной газете публиковался прогноз – когда и где ее лучше всего застать. Когда я впервые отправился посмотреть на этот природный аттракцион, вода отказалась следовать графику. Но со второй попытки, когда вместе с толпой наблюдателей я до полуночи простоял на берегу в Минстеруорте, мы наконец-то были вознаграждены. Час-другой река спокойно текла мимо нас к морю, как и положено любой приличной реке. К неверному свету луны то и дело добавлялись вспышки мощных прожекторов. А затем по толпе пробежал шепот, все шеи дружно вытянулись, а мысли о сырости и холоде улетучились, потому что река в какой-то миг передумала и повернула вбок, вздыбившись по всей ширине волной в два-три фута, которая прокатилась от одного берега до другого. Поравнявшись с нами, она изогнулась и стала уходить вдаль; кое-кто пустился в погоню; люди спотыкались и падали с криками и бранью, потому что волна оказалась быстрее; я остался на берегу в одиночестве. Невозможно выразить словами, что я пережил. Казалось бы,

не ураган, не землетрясение (хотя ни того ни другого я не видел), когда природа показывает свою неистовую разрушительную силу, чтобы мы знали свое место. Но это явление было еще тревожней, потому что оно молчаливо попирало все законы природы, словно где-то во вселенной дернули маленький рычажок и в считанные минуты у меня на глазах бытие – а вместе с ним и время – изменило свой ход. Этот феномен я увидел ночью, отчего он стал еще более загадочным, каким-то потусторонним.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.